



Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

(рассказанные им самим)

Глава шестьдесят первая
Новомирцы
«Чтобы вас было жалко!»

Несмотря на влюбленность в Твардовского кое-что меня в нем удивляло. В частных разговорах он всегда ругал власть за бюрократизм, колхозы, бесполезное освоение целинных земель, управление культурой и в то же время проявлял к этой власти почтение даже тогда, когда этого не требовалось. Для него существовали две власти: просто власть, которую можно и должно ругать, и Советская, с большой буквы, которой следует неустанно присягать на верность. Например, исполнилось 60 лет моему персональному редактору Сацу. Отмечаем в кабинете главного. Твардовский произносит первый тост — и предлагает выпить не за Саца, а «за нашу Советскую власть», которая к появлению на свет Саца была непричастна: он родился за пятнадцать лет до нее. Я был удивлен. Зачем Твардовский это говорит? Неужели он в самом деле эту власть так любит? Как можно любить власть, которая сослала в тартарары его отца и старшего брата? Я не осуждал Твардовского, просто пытался понять, но мне это не удавалось. Раздвоенность сознания помогала ему до поры до времени существовать в относительно мирной советской системой, но разрушала его. Свои сомнения он подобно Шолохову или Фадееву глушил водкой, и чем дальше, тем чаще выпивки в кругу друзей заканчивались уходом в одинокий запой.

Мне была близка нелюбовь Твардовского к проявлениям всякого пихонства или того, что ему казалось пихонством. Ему не нравились стремления мужчин украшать себя крикливой одеждой, дорогими часами, перстнями, усами и бородами. Он ехидно расспрашивал Виктора Некрасова, как он заботится о своих усах: «Смотришь в зеркало, корчишь рожи, подстригаешь, подбавишь, подравниваешь?» — «Да! — с вызовом отвечал Некрасов. — Смотрю в зеркало, корчу рожи, подстригаю, подбавляю, подравниваю!» Позже Твардовский неодобрительно относился к солженицынской бороде. Однажды мы закуривали, у него не оказалось спичек. Я небрежно чиркнул газовой зажигалкой. «Зажигалка?» — спросил он насмешливо, и я устыдился, как будто был уличен в чем-то дурном. Он все еще ко мне хорошо относился и однажды стоя произнес тост: «Вот умирает писатель, и я думаю о нем: не жалко. Я хочу выпить за вас, чтобы, когда вы умрете, вас было жалко!»

Наши отношения стали портиться в конце 1962 года, когда я написал повесть «Кем я мог бы стать». Я читал эту повесть вслух Игорю Сацу и Инне Шкунаевой. Им обоим повесть понравилась. И Камилу Икрамову, и Феликсу Светову. И Асе Берзер, которой я сдал рукопись. Ася отдала рукопись дальше, а дальше была заминка. Долго из редакции не было ни слуху ни духу, и вдруг мне показывают внутреннюю рецензию, написанную «самим». Отзыв кислый. Повесть слабая и несамостоятельная, написанная «под Бёлля», даже конкретно под «Бильярд в половине двенадцатого». Я стал искать этот рассказ. Нашел, прочел, удивился. Да, вроде какое-то созвучие интонаций имеется, но кому докажешь, что я Бёлля прочел уже после написания повести?

Твардовскому повесть не понравилась.



ГЕНАДИЙ НОВОМИРЦОВ

То время было временем Солженицына, куда ни придешь, только и разговоров было, что о нем. Очень многие утверждали, что с его появлением все в литературе меняется и уже никто не сможет писать так, как раньше. Лакшин в феврале 63-го записал в дневнике: «За последние полгода-год сформировалось и выявилось особое течение в прозе: А. Яшин, В. Некрасов, В. Войнович, Е. Дорош — и, конечно, Солженицын, стоящий впереди всех, но близкий этому роду литературы».

влась, значит, не понравилась и большинству членов редколлегии. Про «Расстояние в полкилометра» уже все как будто забыли. И не помнят хитроумной надежды Твардовского, что чем вторая вещь будет слабее, тем легче будет напечатать ее вместе с первым рассказом.

Но у меня все-таки были защитники. О чем свидетельствует датированная концом ноября 1962 года дневниковая запись тогдашнего члена редколлегии Владимира Лакшина: «Я сам люблю его (Саца. — В.В.) всей душой и с тревогой замечаю маленькие пятнышки в наших отношениях, с тех пор как я пришел в «Новый мир». Может быть, тут отчасти и ревность к Александру Трифоновичу. Некрасов предупреждал меня когда-то, что Сац ревнив, как мавр. И не может себе представить, что его друзья встречаются где-то без него. А тут еще споры о новой повести Володи Войновича, которого он выпестовал. Повесть о прорабе не слишком удачная, со слабым концом. Но Игорь Александрович, его редактор, признает этого не хочет, язвит критиков Войновича и требует печатать повесть без переделок, как она есть. Володю, конечно, замучили всякими советами и замечаниями, но что делать, если повесть не удалась?»

Двадцать восемь лет спустя Лакшин эту запись снабдил примечанием: «Повесть называлась «Хочу быть честным». Мне досадно теперь на мою снисходительную оценку этой хорошей повести В. Войновича. Но тогда все мы мерили невольно уровнем «Ивана Денисовича», рядом с которым все казалось блеклым».

Хочу быть честным

Кроме Саца нашлись у меня еще два сторонника среди членов редколлегии. Первый — Евгений Николаевич Герасимов, которого, несмотря на преклонные годы все звали Женей. В

качестве поклонника он обнаружился так. Подавленный полным неприятием моей повести в «Новом мире», пришел я как-то в ЦДЛ, встретил там изрядно подвыпившего Женю (а он всегда был подвыпивши, то просто, то изрядно, и сам мне говорил, что имеет дневную норму две бутылки водки), и он неожиданно стал мне объясняться в любви, говорить, как высоко ценит мое дарование. «Как же высоко, — спросил я, — когда вы не хотите печатать мою повесть!» — «Я не хочу?! — искренне возмущился он. — Это они, — Женя понизил голос до шепота, словно говорил о политической власти, — они не хотят. А я хочу. Я тебя вообще считаю надеждой нашей литературы», — добавил он... и почему-то заплакал.

На другой день он позвонил мне рано утром и сказал, что желает немедленно видеть меня в редакции. Утром он был трезвый и говорил на «вы». «Я хочу бороться за вашу повесть, но давайте назовем ее рассказом, чтобы было два рассказа, и переименуем. Как? Давайте назовем просто: «Хочу быть честным». Тогда они будут считать это рассказом о частном случае. Какой-то чудак хочет быть честным, но на основы нашего строя не посягает, и больше того, хочет, чтобы советская власть была даже лучше, чем она есть».

Я спорить не стал. Для меня обозначение жанра большого значения не играло, а название... Оно мне не показалось достаточно «проходным», и даже наоборот, но... Я согласился изменить название и с сожалением убрал эпиграф. Тем не менее повесть не печатают. Твардовский по-прежнему относится к ней плохо, другие члены редколлегии — Закс, Лакшин, Кондратович — тоже, но и не отказывают. Появился Дементьев, большой, грузный, в старомодных очках, похожий на разночинца.

Про него говорили, что во времена космополитизма в Ленинграде он

отличался особым рвением, но я его таким не знал и с трудом мог таким представить. В солженицынском «Теленке» Александр Григорьевич изображен злобным большевистским комиссаром, приставленным к Твардовскому. Не знаю, может, он сначала и был приставлен, но если даже и так, то впоследствии играл другую роль. Он был, кажется, единственным членом редколлегии, имевшим собственное мнение, но отстаивал его не всегда прямо, а применяя разнообразные дипломатические уловки. Твардовский его не боялся, но уважал. И закрывал глаза на то, что в периоды его отсутствия (по причине, например, запоя) Дементьев брал управление на себя и решал спорные вопросы по-своему — печатал, бывало, вещи, не пропущенные главным редактором, а того потом убеждал, что автор много работал над рукописью и кардинально ее улучшил.

Мне Дементьев явно симпатизировал и, по крайней мере, дважды печатал меня, преодолев сопротивление Твардовского. При этом делал много тактических ходов, терпеливо выжидая подходящий момент и меня уговаривал набраться терпения. «Подождите, подождите», — говорил он, и я ждал. С «Хочу быть честным» и «Расстоянием в полкилометра» я ждал целый год. Время от времени рассказы ставили в план, но тут присылал рукопись кто-нибудь из маститых (Эренбург — мемуары, Панова — пьесу), и меня опять выкидывали из очереди. Я нервничал. Меня уже убедили, что «Хочу быть честным» — вещь слабая, но я хотел выйти к читателю с «Расстоянием в полкилометра».

То время было временем Солженицына, куда ни придешь, только и разговоров было, что о нем, очень многие утверждали, что с его появлением все в литературе меняется и уже никто не сможет писать так, как раньше. Именно поэтому я опасался, что мой рассказ воспримут как написанный после и, может быть, даже под влиянием Солженицына и никто не поверит, что во время написания рассказа я этого имени и слыхом еще не слыхал.

Снова песня помогла

В августе 62-го произошло знаменательное событие: космонавты Николаев и Попович во время полета на своих кораблях «Восток-3» и «Восток-4» дуэтом спели «14 минут до старта». Что тут началось! Издательства, журналы и газеты наперебой предлагали мне издать сборник, подборку или отдельные стихотворения. Нас с

Оскаром Фельцманом выдвинули на Ленинскую премию. Меня стали безудержно хвалить в печати и за мою прозу. Петрусь Бровка, белорусский государственный поэт, напечатал в «Литературке» большой панегирик о повести «Мы здесь живем».

Меня хвалили критики из «правого» (по нашим тогдашним понятиям плохого) лагеря, очевидно, решив, что их полку прибыло. Мария Прилежаева, приближенная к начальству сочинительница детских рассказов о Ленине, долго меня вызванивала, потом уговорила посетить ее и возмущалась, что я до сих пор еще не член Союза писателей. Меня тут же стали продвигать неведомые мне силы, и в сентябре я получил заветную книжечку члена Союза писателей с подписью Константина Федины.

Твардовского мой успех не оставил равнодушным. «Как? Это правда ваша песня? Как вы ее написали?» Я отмахивался, стесняясь и текста, и вообще того, что писал песни. Говорил, что писал их просто так, по служебной необходимости. Твардовский возмущался моим несерьезным отношением к серьезному делу. Он был уверен, что сам ничего «просто так» не писал. Он сердился, но сам же и предложил напечатать в ближайшем номере подборку моих стихов. Я отказался. Он спросил: «Почему?» — «Я вам однажды давал свои стихи». — «Вы — мне? А это вы были? Да, помню... Ну, с тех пор прошло время. Может быть, вы выросли. Может быть, я ошибся... Вы знаете, — он наклонился к моему уху, — ведь я в стихах ни х... не понимаю». Его все время ругали за то, что печатает плохие стихи. «Ну, так что? Дадите? Нет? Но почему?» — «Потому, что вы напечатаете стихи и будете считать, что свой долг передо мной выполнили. А я хочу, чтобы читатели знали мою прозу».

Не помню, что он мне ответил, но два рассказа увидели свет в февральском номере журнала 1963 года, вышедшем в марте. Как раз подоспели к идеологической разностной кампании.

Особое течение

Затравленный новомирской редколлегией, я сам уверовал, что «Хочу быть честным» рассказ плохой. Огорчился, что он был в журнале поставлен первым. Читатели, думая я, увидят, что чепуха, журнал откинут и не заметят «Расстояния в полкилометра». Мне было так стыдно, что я боялся показаться на людях. Но позвонил Феликс Светов и похвалил. Еще кто-то одобрительно отзывался. Была не была, я решил выбраться в ЦДЛ. Первым человеком, кого встретил по дороге в ресторан, был Борис Абрамович Слуцкий. «Только что прочел ваши рассказы. Первый очень хороший. Правдивый, умный, добрый, с юмором. И второй рассказ... — он подумал. — И второй тоже хороший...»

«Хочу быть честным» имел успех. Меня хвалили при встречах, по телефону и в письмах. Со мной хотели познакомиться Гроссман, Эренбург, Симонов, Маршак, Каверин, Ромм, Райзман. Большинство из этих людей говорили о «Хочу быть честным» и только некоторые упоминали при этом «Расстояние в полкилометра».

А Лакшин еще до выхода второй книжки журнала в том же дневнике записал: «8.11.63. Думал о том, что за последние полгода-год сформировалось и выявилось особое течение в прозе: А. Яшин, В. Некрасов, В. Войнович, Е. Дорош — сочинения в чем-то друг другу близкие — и, конечно, Солженицын, стоящий впереди всех, но близкий этому роду литературы».

Продолжение следует